

ОСТОРОЖНЕЙ С ОБЪЯТИЯМИ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Свет кончился внезапно – везде, даже лампочки на люпитрах понуро и дружно умерли. Полный мрак и ужас. Что делать, если ноты не прочесть? «Что мы все без наших нот?» – подумала она, не зная, что предпринять. За нотами всех её песен она всегда следила сама, хранила в специальном очень элегантном саквояжике, который в поездках почти никогда не выпускала из рук. А теперь... Ноты-то были. Аккуратно разложены там, где им должно быть. И что дальше? Если тьма вокруг.

К ней – неловко, по стеночке крадучись, подгрёб испуганный Берт: «Что делать, Марлен? Ни одной ноты не прочесть! Отменяем концерт?». Странно, но это почему-то её успокоило. А то, что затем сказал её молодой ведущий и друг, так и вовсе насмешило: «Я сейчас чуть в оркестровую яму не провалился...».

– Со мной, дорогуша, такое случалось! – смеясь, назидательно заметила она ему. Причём сделала это так задиристо и весело, что и он заулыбался – смущённо, должно быть, стесняясь своего испуга, коря себя за него. Она подумала, что невольно, хотя и благодаря сконфуженному Берту, выполнила правило, которому следовала всю жизнь: что бы ни происходило, даже самое страшное, не торопись бояться, остановись, сделай паузу. Выход придёт – может, даже сам, без твоего участия, единым фартом или промыслом Божиим ведомый.

К ним подошёл пожилой человек – седой, всклокоченный, несмотря на темноту, он двигался за кулисами очень уверенно, не полагаясь на стену. «Это – первая скрипка...» – скороговоркой представил его Берт. Человек почтительно поклонился Марлен и сказал на хорошем немецком: «Пожалуйста, давайте начнём, мы знаем вашу музыку наизусть, нам не нужен свет».

Упрашивать Марлен никогда особой нужды не было – в бой так в бой! Она сделала Берту знак, и тот поспешил на сцену вслед за всё знающей здесь первой скрипкой. И она пошла...

Лев пришёл за кулисы тогда, когда Марлен и Берт по очереди, с восторгом, – каждого, – целовали музыкантов. Те, и правда, всё знали наизусть, каждую ноту. Играли с настроением, горячо и слаженно.

...Она была такая же, какой он знал её когда-то. Та же царственность, которая кому-то могла показаться высокомерием и надменностью (словно не говорит, не кивает, не руку протягивает, а высочайшую, почти государеву милость оказывает), но не ему. Те же медленные, а на самом деле выверенные, точные движения. И то же ощущение от всего, что она делала – ощущение дистанции, расстояния, даже когда вроде бы, если начнёшь сантиметры считать, то рядом совсем. Рядом, а далеко. Своя, а не своя. И грань, граница, которой отделена от всех и за которую – ни-ни, не очевидна, но ощутима.

Композитор совсем не был уверен, помнит ли она его. Да разве должна была? Ясно ведь, что не должна. Он сделал шаг ей навстречу, а она оглядела его с ног до головы и очень просто, без той самой, столь обычной для неё царственности сказала:

– Ну, здравствуй...

Когда-то, Лев помнил, она предпочитала вещи чёрного цвета, но здесь была во всём белом. Роскошное белое платье – длинное, почти до пола, плотно облегающее её по-прежнему стройное тело, и шуба, наброшенная на плечи. Шуба, конечно, была частью сценического образа. Ходить в такой по улицам, особенно по весенним московским с их сыростью, было невозможно, – подол тянулся по полу, словно шлейф за королевой.

– Ты, как и прежде, – сказал он, – любишь красивые вещи.

– Да! – согласилась она и, поглядывая на него с хитрющим прищуром, медленно добавила, обернувшись к молодому человеку, что только что вместе с ней обнимал и целовал музыкантов: – И красивых мужчин. Впрочем, как и любая нормальная женщина.

Она наконец (только теперь) подошла к нему совсем близко и обняла. Может быть, не сразу узнала... А может быть, узнала – и не знала, как себя вести. Многие годы жизни на глазах у всех приучили её к тому, что нужно быть осторожней с «да» и «нет», осторожней с объятиями. Особенно на публике. Особенно в чужой, незнакомой стране.

Но всё-таки узнала...

– Что скажешь? – спросила она, требуя оценки. Спросила, впрочем, довольно равнодушно. Он даже подумал: «Да нужны ли ей мои слова? Она сама о себе всё знает...». А потом, вспомнив её тогдашней, ещё до славы и фанфар, усмехнулся: «И знала всегда».

– Неужели всё так плохо? – заметив его замешательство, уточнила она.

– Ну, положим, аттракцион с полной темнотой вам принципиально удался... – попытался пошутить он.

Она, ничем не выказывая своего отношения к произошедшему, холодно заметила:

– Это не наш аттракцион.

Он наклонился к ней, чуть приобнял, не желая, чтоб кто-нибудь это слышал, шепнул на ухо: «Не расстраивайся. Всё было замечательно. Ты стала большой, девочка...»

– Ты, должно быть, – с кокетливой, но грустной улыбкой попыталась она его поправить, – хотел сказать «старой»...

Но он её кокетства будто и не заметил:

– Я хотел сказать то, что сказал.

А тот самый человек, который, не зная русского, но, видимо, без труда общаясь с коллегами на языке музыки, верный своей незримой, но не без претензии, дудочке, мастерски дирижировал незнакомым оркестром, – молодой, улыбчивый, и, кажется, совсем не уставший, готовый к новому действию, – любому, может быть, самому безрассудному, а то и преступному, и Марлен к этому побуждал:

– Марлен, что дальше? Куда мы?

– Разумеется, в ресторан, Берт! Неужели нужно спрашивать? – и спросила – уже не партнёра по сцене (и не только), а Льва: – Идёшь с нами?

– Не знаю, удобно ли.

– Пошли с нами, русский! – прервав их диалог на немецком, по-английски позвал его молодой человек.

– Это мой любимый аранжировщик и друг Берт Бакарак, – представила его Марлен. – Он, кстати, как и ты, хороший Композитор.

– Ты и это помнишь?

– Я помню всё... – покровительственным тоном, будто похлопав его по щеке, ответила она. – А потом, как тебя забыть, если одну твою песню мне как-то пел Поль Робсон. И принуждал взять её в репертуар или хотя бы как-нибудь исполнить её вместе.

– А ты не согласилась.

– Почему? Задумалась. Даже слова начала учить... Но русский – трудный, трудный. Я хотела бы его знать, но, видно, не судьба.

Она сказала и начала напевать: «Папа-па-папа, па-па-ра-пара-па-папа. Как-то так... Как она называется? Как-то очень по-русски...».

– Польюшко-полье... – ответил за него Бакарак.

– Да, «Полюшко-поле». Именно так... – подтвердил Лев и благодарно похлопал Берта по плечу. – Он у тебя знает русский.

– Ничего он не знает! – зло отозвалась Марлен. – Вчера прошлялся где-то всю ночь, скотина...

– Ну, Марлен, – попробовал ей возразить Берт, – как ты можешь? При чужих людях.

– А он мне не чужой! – безжалостно, но сейчас уже почти холодно, без злости, заявила она. – Ты думаешь, ты – один такой на целом свете? Других нет и никогда не было?

Она на мгновение смолкла, а потом продолжила, в третьем лице, словно Берта и не было рядом:

– Композитор и дирижёр, конечно, от Бога, он – мой голос музыкальный. Но порой конченная скотина, каких мало на этом свете.

Льву захотелось поддержать коллегу, и он попробовал не то чтобы вступить, но хотя бы сменить тему на более приятную – в первую очередь для Берта:

– То, какой он дирижёр, я заметил.

– Не удивляюсь, – с усмешкой заметила Марлен и, должно быть, поняв, что скандалить не время, это мешает главному, скомандовала: – Ладно, пошли, пошли! Что встали-то? Скорей, скорей! Я есть хочу, как дикая волчица. Хочу русской водки и икры.

– Когда-то ты предпочитала шампанское... – заметил Лев с тайным умыслом: «Помнит ли?». Она помнила.

– Тем более, что платил за него ты... – усмехнулась Марлен, а потом как-то неожиданно осунулась, посерьёзна и сказала: – Я просто очень долго живу. Когда долго живёшь, до всего доживаешь.

Так она сказала, и тут же ушла от серьёза и тайных своих, видимо, не слишком бравурных дум, снова повеселела, засмеялась и добавила – про то, до чего всё-таки можно дожить, если жить долго: «Даже до водки и икры...».

– Так в ресторан! – подхватил Бакарак, которому её решимость, видимо, пришлось по сердцу, и, обернувшись к Льву, спросил: – А в какой лучше, русский?

– В «Арагви!» – не задумываясь, ответил тот.

...В «Арагви», когда они вдосталь уже накушались и ледяной водки, и чёрной икры, Марлен подобрела и, с удовольствием оглядев всех, кто пришёл сюда с ней (включая, конечно, музыкантов, которые, в общем, стали героями дня, их, не скупясь, приветствовали все), а, чтобы уместить всех, пришлось сдвинуть столы, сказала:

– Люблю кормить друзей – причём, если получится, вместе с чадами и домочадцами. И кормить, и поить.

– Широкая душа! – оценил Лев.

– Да, я думаю, по-русски широкая. Лео, похожа я на русскую?

– Не похожа! – на этот раз не стал поддакивать хозяйке стола Композитор.

– Что ж, может быть, и так. Тебе, в конце концов, виднее, – не стала очень уж настаивать на своей русскости Марлен, однако не преминула уколоть в ответ: – Хоть и ты, если я не ошибаюсь, тоже немец.

«Ух, она и это помнит! – изумился Лев. – Но соглашаться с ней нельзя. Нельзя! Может, только отчасти...».

– Правда? Лео, это правда? – оживился Берг. Он хотел спросить что-то ещё, но Лев его опередил.

– Я – русский, – сказал он спокойно. – Русский немецкого происхождения. Есть такая формула. Очень правильная.

– Хорошо, хорошо, – легко согласилась с ним Марлен. – Повторюсь, тебе виднее.

«Она слишком быстро сдалась, – подумал он и, осознав, что происходящее начинает напоминать не только пикировку двух давних друзей, но и поединок «выпад – ответ», почти то, что он вынужден был делать всю жизнь, привычно стал выделять из сказанного главное: – Сейчас, должно быть, будет просьба...»

– Послушай... – сказала она совсем тихо, должно быть, не желая, чтобы кто-нибудь это слышал. – Может быть, ты сможешь.

Она говорила прерываясь, словно кого-то или чего-то стеснялась. Или боялась.

– Мне просто больше не к кому обратиться, – продолжила Марлен. – У меня ведь нет друзей в Москве.

Она взглянула на него и добавила с полуулыбкой – мягкой, как всегда, пленительной, обезоруживающей:

– Кроме тебя.

– Ты что-то хотела попросить? – спросил Лев.

– Да. И уже просила у тех людей, которые всё устроили здесь, которые меня принимают.

Лев почти присвистнул в недоумении:

– Марлен, среди тех людей, которые тебя принимают, между прочим, наш министр культуры.

– Не знаю! Ничего не знаю! – отмахнулась она от его слов, как от ничего не значащей, но надоедливой, привычной мухи. – Я знаю одно. У вас есть такой

писатель – Паустовский. Я бы хотела его увидеть. Мне обещали, но говорят, что он серьёзно болен. Может быть, ты сможешь? Если это, конечно, возможно.

– Не знаю, – пожал плечами Лев. – Точнее, знаю, конечно. Но мы не знакомы. Он немного из другого мира. А почему Паустовский-то?

– Она им бредит, – подал голос Берт, который прежде почти не участвовал в разговоре, даже признаков жизни не подавал, молча что-то ел, не исключая бутербродов с чёрной астраханской икрой, и пил водку. – Прочитала какой-то его рассказ, и он её очень впечатлил. Боюсь судить, но, кажется, влюбилась.

– Может быть, – не удостоив коллегу даже взгляда, медленно произнесла Марлен, – и влюбилась...

– А какой рассказ?

– «Телеграмма». Читал?

– Нет, не читал. Удивительно, я как-то прежде не замечал, что ты умеешь читать.

– Ты многого тогда не замечал, не особенно к этому приглядывался, – немного обиженно промолвила Марлен, при этом отсиживаться не стала – тоже укусила: – Тебя, я полагаю, интересовало тогда другое.

Он возражать не стал, это, в некотором роде, можно было считать и комплиментом:

– И с этим другим, надо признать, у тебя всё было в порядке.

– Было бы странно, если бы было иначе, – резонно заметила она в ответ. Цену себе Марлен знала. Всегда.

– Да, – согласился он. – А про что рассказ?

– Если просто, без подробностей, то про то, как дочка не успела проститься с матерью. Долго обещала, что приедет, а, когда приехала, то даже на похороны опоздала. А та её ждала. И так и не дождалась.

– Понятно, – кивнул Лев.

– Да ничего тебе не понятно! И не может быть понятно. Рассказывать хорошую прозу бесполезно. Читать надо!

– Обязательно прочту, – машинально пообещал Композитор. – Я, прости, не всё успеваю читать. У нас, знаешь, писателей-то много. И почти все хорошие.

Она хотела ему сказать, что знала многих писателей, и все – хорошие, а то и очень хорошие, были и такие, которых иные люди (не она!) называют гениальными, но не стала.

– Такой – один... – сказала она так, что он понял – возражать бесполезно. Да и не надо.

– Ты с ней не спорь, приятель! – зачем-то снова заговорил ненужный Берт. – Дороже станет.

Он и не спорил...

Её речь снова стала прерывистой, словно ей, как астматику, не хватало дыхания, и приходилось делить монолог на короткие фразы.

– Знаешь, я тоже когда-то... – сказала она и замерла, продолжила едва ли не через минуту: – Тоже не успела. – Мама умерла в 45-м. А я приехала поздно.

Марлен снова замолчала, прислушиваясь к своей ещё не до конца забытой, неизжитой боли. Он её не торопил.

– И всё было со мной так, как с героиней рассказа. С Настей, – договорила она.

Марлен говорила, а перед глазами её стояло то, как она прилетела тогда в Берлин. И всё было там, конечно, другим, не как в рассказе. И – таким же. Хоть и город, её Берлин, несмотря на то, что от него осталась лишь оболочка, да и та с прорехами, совсем не походил на село Заборье, где жила Катерина Петровна. И давний приятель Марлен, старый её толстый и жадный, плутоватый импресарио, который занимался похоронами мамы, даже отдалённо не напоминал сторожа при пожарном сарае, рыжего и тощего Тихона. Да и она сама – тогдашняя, уже в великой славе, бронзоволикая Марлен Дитрих, вроде бы от конторского секретаря Союза художников, тихой, серенькой Насти бесконечно далека. Но... Были в этом очень негромком, чуждом пафоса и поучительных ноток тексте слова и картины, которые она сразу узнала. Так, словно это было именно с ней. Так с ней ведь и было, как с Настей: «Поздно! Маму я уже не увижу», – сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово – «мама». Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо...»

Подобное было с ней, когда после смерти бабушки – своей матери, её мать просила Марлен пожить вместе с ней хотя бы какое-то время. А у неё снова были какие-то гастроли, бесконечная череда концертов: поезда и самолёты, аэропорты, гостиницы, да и не гостиницы порой, а какие-то унылые постоялые двory, и прочая суета.

И финал «Телеграммы» тоже был полностью из её, Марлен, жизни, – всецело, без изъятия, как будто автор за ней следил и подсмотрел: «...В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище – земля на нём смёрзлась комками – и холодную тёмную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжёлый рассвет.

Уехала Настя крадучись, стараясь, чтобы её никто не увидел и ни о чём не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с неё непоправимой вины, невыносимой тяжести...»

И был Берлин. И было такое же неживое жилище мамы. Пустой мёртвый дом, казалось, умерший гораздо раньше хозяйки... И аэродром без людей, куда самолёт прислали для одного человека. Для неё. Женщины, у которой уже не было настолько родных людей на этой большой земле.

...Как только вернулся домой, он сразу же позвонил Генералу (они давно не общались, но нужные телефоны он не забывал), объяснил ситуацию. Тот ничего не обещал, но через несколько дней перезвонил и сказал:

– Он действительно очень плохо себя чувствует. Но не в больнице. После инфаркта дома отлёживается.

– Значит, никакой возможности?

– Возможность всегда есть. Мы постараемся привезти его на следующее выступление вашей старой знакомой – в Центральном доме литераторов, или,

как его ещё называют, в Доме писателей. Доставку обеспечит наше ведомство. Разумеется, в сопровождении врача. Его я, кстати, как оказалось, знаю. Так получилось. Хороший доктор. Фронтовик, как и вы, участник обороны Москвы. И жена, конечно, будет сопровождать. Без неё ничего не сделаем, насколько я понял. Ближайший человек. Без неё – ни тпру, ни ну...

– Благодарю вас, Павел Анатольевич!

– Очень прошу, Лев Константинович...

Генерал замолчал. Молчал он довольно долго. Лев терпеливо ждал, не топил его.

– За гостьей нашей присмотрите, пожалуйста, – наконец, раздалось в трубке. – Чтобы не слишком волновала классика. Под вашу ответственность.

– Она уже не в том возрасте, чтобы волновать... – попробовал пошутить Композитор.

– Как знать, как знать! Я бы так не сказал. Фотографии её выступления в Театре эстрады я видел... – Генерал показал, что о визите заморской дамы он осведомлён достаточно. – Впрочем, вам, я думаю, виднее.

Следующий вопрос стал для Льва неожиданностью, несмотря на то, что и сам тоже его Марлен задавал. А тут – показалось странным. Может быть, потому, что ответ-то он уже знал:

– Скажите, а вы у неё не спрашивали, зачем ей Паустовский-то? Что за каприз? Он не молод ведь уже, и здоровьем плох. Не популярный исполнитель, не футболист известный, не богач. В общем, не Пеле, не Рокфеллер. Он даже не поэт, а прозаик. Зачем он мировой знаменитости?

– Его проза её увлекла. Я и сам не поверил бы, если бы она не сказала. Оказалось, Марлен читает книги.

– Надо же, никогда бы не подумал!

– Так о чём я и говорю, товарищ генерал.

– Это редкость... – с уважением промолвил Генерал. Помолчал, а затем продолжил: – У них. Не у нас. Я думаю, надо помочь человеку.

...Он стоял в Доме литераторов не у входа, а чуть в стороне, у парадной лестницы. Мимо нескончаемой чередой тянулись писатели. Шли не группами, а как-то по одному, каждый – отдельно. И то сказать, – сплошные классики: Тихонов, Сурков, Федин, Симонов... С некоторыми знакомыми он раскланивался, порой даже обменивался парой слов. Щедрый на острое словцо Светлов и здесь без них не обошёлся, остановился рядом с ним, должно быть, чтобы чуть передохнуть перед тем, как взбираться вверх по ступеням, поздоровался, тепло, хоть и не без поддёвки дружеской, спросил: «Ну, что, «Полюшко-поле», как дела?». «Михал Аркадьич, ты ещё «Почётный караул» вспомни. Наш совместный...». «Вспомнил бы, если бы наш «Почётный караул» весь мир пел. А «Полюшко...» твоё и светлой памяти Вити Гусева поёт. Глядишь, и Марлен сегодня исполнит, нет?» – «Не поверишь, Михал Аркадьич, хотела. Русский язык помешал...» «Русский язык, говоришь? – одобрительно промолвил Светлов, подмигнув Льву: – Что ж, он такой, наш великий и могучий, не отнять...» И наконец начал восхождение.

С серым, скомканным лицом прошёл Коваленков, останавливаться не стал, молча кивнул и просквозил мимо. Льву это показалось странным, они ведь с

Александром Александровичем прятельствовали много лет, да и, опять же, песню вместе сделали, причём хорошую, не в пример «Почётному караулу». Детскую! Про медведя, который зимой шёл к себе домой и по дороге на хвост лисе наступил. Текст очень простой, какой и должен быть в песне, особенно для детей. Запоминался – на раз. Композитор, хоть и не учил, а кое-что наизусть помнил, – само собой в нём остались отдельные строчки и даже куплеты. Концовку, к примеру, которая получилась незатейливой, но милой:

С той поры медведь решил,
Что зимой нужно спать,
По тропинкам не гулять,
На хвосты не наступать.
Он в берлоге безмятежно
Спит зимой под крышей снежной,
И доволен неспроста,
Что родился без хвоста.

Не удостоив и кивка, продефилировал Долматовский. Стороной, словно не заметив, прошёл и автор «Кочубея». «А ведь когда-то дружили...» – подумал он. Впрочем, после тех, памятных обоим московских октябрьских дней 41-го они почти не общались.

В очереди, что тянулись на второй этаж, в главный зал ЦДЛ, конечно, были и коллеги. Но немного. Они чинно поприветствовали друг друга с Хренниковым – степенным, основательным, а порой и вовсе монументальным, несущим своё пиджачно-галстучное тело с лауреатским медальным бантом на груди как памятник самому себе. От той лёгкости и быстроты, что жила в нём когда-то, каким Лев его ещё помнил, не осталось ни следа.

Льву важно было увидеть Писателя, чёткой уверенности в том, что болезнь и супруга, которая, как говорил Генерал, в эту пору управляла всей его жизнью, позволят ему прийти. Генерал обещал. Обещал и он – Марлен. Но не твёрдо. Как известно, над недугами и жёнами и генералы не властны.

Но они всё-таки пришли. Писатель и последняя его, третья жена, бывшая жена известного драматурга, который написал о ней пьесу, которую, не долго думая, назвал её именем. Рядом, как и обговаривали заранее, вышагивал врач, домашний доктор Паустовского, единственный, кому он, безмерно уставший от людей в белых халатах, доверял всецело, без оговорок. Лет шестидесяти, он был в добротном, как и у Хренникова, не из магазина готового платья, умело сотворённом костюме. Композитору бросились в глаза орденские планки. Как офицер, да и любой человек войны и в послевоенное времени он мог их читать, не требуя перевода: два ордена Отечественной войны, «За отвагу», Красная Звезда. Ещё одна планка – красно-белая медальная планочка, может быть, у кого-то вызвала бы вопросы, но не у Льва. У самого такая имелась – «За оборону Москвы». «Вот тебе и доктор, – подумал он. – Настоящий военврач, однако...»

Он подошёл к Паустовскому, представился, тот среагировал мгновенно: «А вы вас знаю, хоть мы и не знакомы...» «Я вас – тоже!» – ответил Лев, а потом сказал о деле:

– Она вас ждёт.

– Я знаю. Но, наверное, правильней будет после выступления...

...О том, что человек, встречи с которым она так желала, в зале, Марлен общилась её здешняя переводчица Нора – тоненькая, безликая еврейка, этакая серая мышка, но мышка проворная, обладавшая редким даром быть незаметной, не мешать, но, как из воздуха, будто по мановению волшебной палочки, по единому зову являться, когда в том была вящая необходимость. И тут – явилась. И не одна, с женой писателя. Её звали Татьяна. Это была пышнотелая блондинка, когда-то, видимо, очень красивая, а здесь – просто преданная жена, занятая только тем, что муж болен, и этим путешествием в ЦДЛ, что для пожилого, страдающего сердцем писателя было и тяжело, и небезопасно.

Она рассказала об этом Марлен. И та, встревоженная, спросила:

– Так, может быть, ему лучше поехать домой?

Но та сказала:

– Нет, сейчас уже, когда он здесь, если мы вернёмся, ему только хуже будет.

Он должен увидеть вас.

– Хорошо, – кивнула Марлен. – Если должен, значит, увидит. Я тоже очень хочу его видеть.

Татьяна взглянула на неё беспокойно, но без неприятия. Не время было ревновать. Кончилось то время. Сказала только, как о том, что только ей ведомо, что она решает:

– Он будет в зале. Будет вас слушать.

...Писатель шёл тяжело, с трудом одолевал ступени, что вели к сцене. Заставлял себя. Но на душе почему-то было светло. Когда ему рассказали, что кинодива из-за бугра, кумир миллионов, хочет его видеть, его удивило не это, другое. Главный вопрос для него тоже был – зачем? С какой стати? К чему он ей? А потом ему сказали про «Телеграмму», и он успокоился. Рассказ был хороший, и он твёрдо знал это. Но дело было даже не в том. За свою длинную, не всегда благополучную, однако, в общем, счастливую жизнь он написал немало хороших рассказов. Но этот был особый. И если он так подействовал на человека, то, значит, этот человек ещё жив. Не кинодива заокеанская, а человек. К этому человеку он и шёл. Медленно, с усилием, но уверенно, опираясь на трость, – тяжёлую, но очень удобную, какую долго искал, а потом наконец обрёл в одном из столичных антикварных. Он даже предполагал, что трость имеет свою историю, собственную биографию, в которой, вполне возможно, много чего имеется, но сейчас уж не отыщешь эти пути-дорожки... Когда живёшь долго, биография возникает сама собой – неизбежно. И становится судьбой. Но не всякая.

...Когда смолкли аплодисменты, ей принялись задавать вопросы – сборище-то было писательское, бестолковое, любящее себя и поговорить. И среди прочих вопрошаний ожидаемо случилось и такое: «А вы знаете современную советскую литературу? Каких наших писателей любите?». Она ответила по-королевски, сначала вообще: «Я знаю русскую литературу...». А затем и в

частности. Она назвала его имя. И тут же кто-то выкрикнул, что он в зале. Она знала. Она ждала его.

Она ждала его. Хотя и для неё стало неожиданностью, что он пойдёт на сцену. Она видела, как ему трудно. Даже хотела подойти и помочь, но остановила себя, посчитав, что для мужчины это будет унижительно. А тот, кто так тяжело шёл к ней, был мужчиной. Даже в своей немощи.

Когда он поднялся, она не знала, что сказать. И слов таких не было, да и русский она не знала. Хотела когда-то выучить – именно из-за русской литературы, из-за Толстого и Достоевского, да вот не случилось. Вот ничего не скажешь. А сделать что?

Марлен сделала это инстинктивно, всё произошло, словно само собой, будто по подсказке чьей-то неслышимой и незримой: опустилась перед ним (по её представлению, безусловным гением, её идолом) на колени.

Ему захотелось, как девочку, погладить её по голове. Столько было беды и неизжитой боли в этом её искреннем движении.

Он поцеловал ей руку, заглянул в её большие полные слёз глаза. И застыл оторопело, не зная, что делать, потому что Марлен не поднималась, – оставалась на коленях. А потом неожиданно осознал, что Марлен нужна помощь, что она не в силах сама подняться. И платье тесное, и туфли неудобные, концертные, и ноги – уже не те, что были прежде. Не те, что отстукивали Льву и прочей жаждущей этого публике безудержный, кажущийся неостановимым степ в берлинском варьете.

Врач, который стоял рядом со Львом за кулисами, тут же понял (или почувствовал?), в чём дело, закричал: «Константин Георгиевич, не смей! Не вздумай, мать твою! Не поднимай её! Даже не думай!». Лев бросился было на сцену. Но раньше успел Бакарак – причём он сделал всё так, чтобы зал ничего не взял в толк: поклонившись Писателю, почтительно, как к богине, опустился коленами к Марлен и очень бережно, медленно, шаг за шагом, будто по ступеням (примерно так же, как поднимался к ней Писатель) поднял певицу с колен.

«Молодец, вовремя!» – сказал он Берту, когда тот, покинув сцену, неостановимо и грубо шерстил мимо. Тот комплимент или того, кто его воспроизвёл, не заметил, только бросил в ответ: «Я всегда вовремя!».

Они простились с Писателем, его женой и врачом. Марлен тянула их в ресторан, но врач запретил, даже погрозил примадонне пальцем: «Ни-ни!» – а Паустовскому и его супруге заявил без экивоков: «Немедленно в постель!». На что те счастливо заулыбались. Татьяна кивнула, по-военному щёлкнула каблуками, попыталась отдать честь: «Так точно, Виктор Абрамович! Будет исполнено!».

Марлен пожелала дойти до гостиницы пешком, уточнила у Льва: «Здесь же недалеко?» «Минут двадцать пешком. Если никуда не торопиться...» «Пошли!» И они пошли. По мокрому асфальту весенней, не слишком тёплой в эти дни столицы.

Что ж поделаешь, если весна была в Москве в тот год, как бес на качелях: то жарко – до тридцати, до духоты нестерпимой и тягостной для большого города, вплоть до чуть размягчённого солнцем асфальта, то совсем прохладно,

слёзно, с мелким, но почти не прекращающимся, казавшимся бесконечным дождиком. Но май как раз по большей части выдался холодный, почти осенний, ненастный. Но Марлен и Берта это нисколько не стеснило, оба к такому повороту оказались готовы, приехали в именно что осенних пальто.

– Ха-ха, не забывай, что у нас ведь был ещё Петербург, то есть Ленинград, конечно, если по-вашему... – заметила она Льву, когда тот похвалил пару за осмотрительность. – Там было похолоднее.

– А он, видишь, недоглядел, – попенял ей тот в ответ, указывая на их гитариста, который тоже увязался вместе с ними прогуляться до гостиницы. Музыкант в тоненьком ненадёжном плащике, должно быть, чувствовал себя не слишком уютно, то и дело поводил плечиками, разве что не ёжился.

– Рене? – спросила она так, словно только что увидела ещё одного их спутника. И расслабленно махнула рукой, сказала, как о чём-то, с чем устала бороться, да и нет особого смысла это делать: – Не обращай внимания. Он – француз.

Она заявила последнее, приговор, как данность, которая снимает все возможные нынешние и дальнейшие вопросы. Уточнять что-либо Лев не стал, да и француз не возражал: кивнул вполне миролюбиво. Хотя, вполне возможно, и не слишком понимал, о чём речь, ведь говорили они по-немецки.

– А как тебе Ленинград? – решил сменить тему Лев. – Понравился?

– Хорош! Красив! Роскошен! – восторженно, но без чувств, как по обязанности, отговорилась она, хотела сказать что-то ещё, но Берт её перебил – он, хоть и не знал немецкого, однако, как и в диалоге с музыкантами, одному ему ведомым образом всё же умудрялся что-то понимать. Уж название города уловил точно:

– Она там с кораблём фотографировалась. И с девочками с красными галстуками.

– Пионерками?

– Ес, пайониерс! – энергично закивал Бакарак. – Ей тоже галстук повязали. И он показал, как Марлен повязывали галстук.

– О, это честь! – приветствовал факт принятия большой гостью Страны Советов в стан детей Октября. И, хоть и без того всё уже понял, уточнил: – А корабль-то какой?

– Тот, что революцию начал.

– Крейсер «Аврора»?

– Ес, ес! Ав-ро-ра...

– Да, это правда, – подтвердила Марлен факт фотографирования с революционным крейсером и повторила: – Да, Петербург прекрасен.

А потом широко, как она умела всегда, улыбнулась и с любовью промолвила:

– Но Москва лучше!

Он не ожидал такого, удивился даже, озадаченный:

– Да почему, Марлен?!

– Там всё по линеечке... – промолвила она. – Такие города я видела. Пусть не такие красивые, но видела. Берлин тот же. Но он зажат в своём камне, в своих линиях, неизменных и скучных. А Москва – широкая! Без меры. Без правил.

Без границ. Таких больше нет. Петербург – это дворец, это – музей. А Москва – это сад. Это праздник.

Он посмотрел на неё с уважением:

– А ты умная...

А она не упустила случая его уколоть, спросила, посмеиваясь:

– А ты только сейчас это заметил?

– Всегда знал, что умная. Но не знал, что настолько.

– И не удивительно, – как о чём-то действительно очень понятном, безусловном, сказала она. – С Композиторами такое бывает.

– Правда? – не преминул уколоть он в ответ. – Повторение пройденного?

Но такие уколы её не пугали. Сколько их было за жизнь – и вполне себе миролюбивых, как его, и иных, много большей и опасней.

– Да, отчасти, – равнодушно заметила она, и с мягкой улыбкой ответила – не ударом на удар, а выпадом на выпад, не опасным, хоть и ощутимым: – Но, пожалуй, не только пройденного. – Знаешь, что мне Писатель написал на своей книге?

– А ты знаешь?

– Да, мне перевели. Он написал, что если когда-нибудь создаст рассказ, подобный «Телеграмме», то посвятит его мне.

– Но он не напишет, – не стал жалеть её Лев. – Поздно...

Однако она в его жалости не нуждалась. Всё уже знала. И о себе, и о тех, кто вокруг.

– Да, поздно. Мы слишком поздно встретились... Непреодолимо поздно.